Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения!

ОТ АВТОРА

Я прошу извинения у моих читателей , что на сей раз вместо «Дневника» в обычной его форме даю лишь повесть. Но я действительно занят был этой повестью бо?льшую часть месяца. Во всяком случае прошу снисхождения читателей.

Теперь о самом рассказе. Я озаглавил его «фантастическим», тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа, что и нахожу нужным пояснить предварительно.

Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и еще не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, «собрать свои мысли в точку». Притом это закоренелый ипохондрик, из тех, что говорят сами с собою. Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, уясняет себе его. Несмотря на кажущуюся последовательность речи, он несколько раз противуречит себе, и в логике и в чувствах. Он и оправдывает себя, и обвиняет ее, и пускается в посторонние разъяснения: тут и грубость мысли и сердца, тут и глубокое чувство. Мало-помалу он действительно уясняет себе дело и собирает «мысли в точку». Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к правде; правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его. Истина открывается несчастному довольно ясно и определительно, по крайней мере для него самого.

Вот тема. Конечно, процесс рассказа продолжается несколько часов, с урывками и перемежками и в форме сбивчивой: то он говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности. Если б мог подслушать его и вс? записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шершавее, необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок,

может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем вс? стенографе
(после которого я обделал бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе
фантастическим. Но отчасти подобное уже не раз допускалось в искусстве: Виктор Гюго,
например, в своем шедевре «Последний день приговоренного к смертной казни» употребил
почти такой же прием и хоть и не вывел стенографа, но допустил еще большую
неправдоподобность, предположив, что приговоренный к казни может (и имеет время) вести
записки не только в последний день свой, но даже в последний час и буквально в последнюю
минуту. Но не допусти он этой фантазии, не существовало бы и самого произведения — самого
реальнейшего и самого правдивейшего произведения из всех им написанных.
I КТО БЫЛ Я И КТО БЫЛА ОНА …Вот пока она здесь — еще вс? хорошо: подхожу и смотрю поминутно; а унесут завтра и — как же я останусь один? Она теперь в зале на столе, составили два ломберных, а гроб будет завтра, белый, белый гроденапль, а впрочем, не про то… Я вс? хожу и хочу себе уяснить это. Вот уже шесть часов, как я хочу уяснить и вс? не соберу в точку мыслей. Дело в том, что я вс? хожу, хожу, хожу… Это вот как было. Я просто расскажу по порядку. (Порядок!) Господа, я далеко не литератор, и вы это видите, да и пусть, а расскажу, как сам понимаю. В том-то и весь ужас мой, что я вс? понимаю! Это если хотите знать, то есть если с самого начала брать, то она просто-запросто приходила ко мне тогда закладывать вещи, чтоб оплатить публикацию в "Голосе" о том, что вот, дескать, таки так, гувернантка, согласна и в отъезд, и уроки давать на дому, и проч., и проч. Это было в самом начале, и я, конечно, не различал ее от других: приходит как все, ну и прочее. А потом стал различать. Была она такая тоненькая, белокуренькая, средне-высокого роста; со мной всегда мешковата, как будто конфузилась (я думаю, и со всеми чужими была такая же, а я, разумеется, ей был вс? равно что тот, что другой, то есть если брать как не закладчика, а как человека). Только что получала деньги, тотчас же повертывалась и уходила. И вс? молча. Другие так спорят, просят, торгуются, чтоб больше дали; эта нет, что дадут… Мне кажется, я вс? путаюсь… Да; меня прежде всего поразили ее вещи: серебряные позолоченные сережечки, дрянненький медальончик — вещи в двугривенный. Она и сама знала, что цена им гривенник, но я по лицу видел, что они для нее драгоценность, — и действительно, это вс?, что оставалось у ней от папаши и мамаши, после узнал. Раз только я позволил себе усмехнуться на ее вещи. То есть, видите ли, я этого себе никогда не позволяю, у меня с публикой тон джентльменский: мало слов, вежливо и строго. "Строго, строго и строго". Но она вдруг позволила себе принести остатки (то есть буквально) старой заячьей куцавейки, — и я не удержался и вдруг сказал ей что-то, вроде как бы остроты. Батюшки, как вспыхнула! Глаза у ней голубые, большие, задумчивые, но — как загорелись! Но ни слова не выронила, взяла свои "остатки" и — вышла. Тут-то я и заметил ее в первый раз особенно и подумал что-то о ней в этом роде, то есть именно что-то в особенном роде. Да; помню и еще впечатление, то есть, если хотите, самое главное впечатление, синтез всего: именно что ужасно молода, так молода, что точно четырнадцать лет. А меж тем ей тогда уж было без трех месяцев шестнадцать. А впрочем, я не то хотел сказать, вовсе не в том был синтез.

Назавтра опять пришла. Я узнал потом, что она у Добронравова и у Мозера с этой куцавейкой была, но те, кроме золота, ничего не принимают и говорить не стали. Я же у ней принял однажды камей (так, дрянненький) — и, осмыслив, потом удивился: я, кроме золота и серебра, тоже ничего не принимаю, а ей допустил камей. Это вторая мысль об ней тогда была, это я помню. В этот раз, то есть от Мозера, она принесла сигарный янтарный мундштук — вещица так себе, любительская, но у нас опять-таки ничего не стоящая, потому что мы — только золото. Так как она приходила уже после вчерашнего бунта , то я встретил ее строго. Строгость у меня — это сухость. Однако же, выдавая ей два рубля, я не удержался и сказал как бы с некоторым раздражением: "Я ведь это только для вас, а такую вещь у вас Мозер не примет". Слово "для вас" я особенно подчеркнул, и именно в некотором смысле . Зол был. Она опять вспыхнула, выслушав это "для вас", но смолчала, не бросила денег, приняла, — то-то бедность! А как вспыхнула! Я понял, что уколол. А когда она уже вышла, вдруг спросил себя: так неужели же это торжество над ней стоит двух рублей? Хе-хе-хе! Помню, что задал именно этот вопрос два раза: "Стоит ли? стоит ли?" И, смеясь, разрешил его про себя в утвердительном смысле. Очень уж я тогда развеселился. Но это было не дурное чувство: я с умыслом, с намерением; я ее испытать хотел, потому что у меня вдруг забродили некоторые на ее счет мысли. Это была третья особенная моя мысль об ней. …Ну вот с тех пор вс? и началось. Разумеется, я тотчас же постарался разузнать все обстоятельства стороной и ждал ее прихода с особенным нетерпением. Я ведь предчувствовал, что она скоро придет. Когда пришла, я вступил в любезный разговор с необычайною вежливостью. Я ведь недурно воспитан и имею манеры. Гм. Тут-то я догадался, что она добра и кротка. Добрые и кроткие недолго сопротивляются и хоть вовсе не очень открываются, но от разговора увернуться никак не умеют: отвечают скупо, но отвечают, и чем дальше, тем больше, только сами не уставайте, если вам надо. Разумеется, она тогда мне сама ничего не объяснила. Это потом уже про "Голос" и про вс? я узнал. Она тогда из последних сил публиковалась, сначала, разумеется, заносчиво: "Дескать, гувернантка, согласна в отъезд, и условия присылать в пакетах", а потом: "Согласна на вс?, и учить, и в компаньонки, и за хозяйством смотреть, и за больной ходить, и шить умею", и т. д., и т. д., вс? известное! Разумеется, вс? это прибавлялось к публикации в разные приемы, а под конец, когда к отчаянию подошло, так даже и "без жалованья, из хлеба". Нет, не нашла места! Я решился ее тогда в последний раз испытать: вдруг беру сегодняшний "Голос" и показываю ей объявление: "Молодая особа, круглая сирота, ищет места гувернантки к малолетним детям, преимущественно у пожилого вдовца. Может облегчить в хозяйстве". — Вот, видите, эта сегодня утром публиковалась, а к вечеру наверно место нашла. Вот как надо публиковаться! Опять вспыхнула, опять глаза загорелись, повернулась и тотчас ушла. Мне очень понравилось. Впрочем, я был тогда уже во всем уверен и не боялся: мундштуки-то никто принимать не станет. А у ней и мундштуки уже вышли. Так и есть, на третий день приходит, такая бледненькая, взволнованная, — я понял, что у ней что-то вышло дома, и действительно вышло. Сейчас объясню, что вышло, но теперь хочу лишь припомнить, как я вдруг ей тогда шику задал и вырос в ее глазах. Такое у меня вдруг явилось намерение. Дело в том, что она принесла этот образ (решилась принести)… Ах, слушайте! слушайте! Вот теперь уже началось, а то я вс? путался… Дело в том, что я теперь вс? это хочу припомнить, каждую эту мелочь, каждую черточку. Я вс? хочу в точку мысли собрать и — не могу, а вот эти черточки, черточки… Образ богородицы. Богородица с младенцем, домашний, семейный, старинный, риза

серебряная золоченая — стоит — ну, рублей шесть стоит. Вижу, дорог ей образ, закладывает весь образ, ризы не снимая. Говорю ей: лучше бы ризу снять, а образ унесите; а то образ все-таки как-то того. — А разве вам запрещено? — Нет, не то что запрещено, а так, может быть, вам самим… — Ну, снимите. — Знаете что, я не буду снимать, а поставлю вон туда в киот, — сказал я, подумав, — с другими образами, под лампадкой (у меня всегда, как открыл кассу, лампадка горела), и просто-запросто возьмите десять рублей. — Мне не надо десяти, дайте мне пять, я непременно выкуплю. — А десять не хотите? Образ стоит, — прибавил я, заметив, что опять глазки сверкнули. Она смолчала. Я вынес ей пять рублей. — Не презирайте никого, я сам был в этих тисках, да еще похуже-с, и если теперь вы видите меня за таким занятием… то ведь это после всего, что я вынес… — Вы мстите обществу? Да? — перебила она меня вдруг с довольно едкой насмешкой, в которой было, впрочем, много невинного (то есть общего, потому что меня она решительно тогда от других не отличала, так что почти безобидно сказала). "Ага! — подумал я, — вот ты какая, характер объявляется, нового направления". — Видите, — заметил я тотчас же полушутливо-полутаинственно. — "Я — я есмь часть той части целого, которая хочет делать зло, а творит добро…" Она быстро и с большим любопытством, в котором, впрочем, было много детского, посмотрела на меня: — Постойте… Что это за мысль? Откуда это? Я где-то слышала… — Не ломайте головы, в этих выражениях Мефистофель рекомендуется Фаусту. "Фауста" читали? — Не… невнимательно. — То есть не читали вовсе. Надо прочесть. А впрочем, я вижу опять на ваших губах насмешливую складку. Пожалуйста, не предположите во мне так мало вкуса, что я, чтобы закрасить мою роль закладчика, захотел отрекомендоваться вам Мефистофелем. Закладчик закладчиком и останется. Знаем-с. — Вы какой-то странный… Я вовсе не хотела вам сказать что-нибудь такое… Ей хотелось сказать: я не ожидала, что вы человек образованный, но она не сказала, зато я знал, что она это подумала; ужасно я угодил ей. — Видите, — заметил я, — на всяком поприще можно делать хорошее. Я конечно не про себя, я, кроме дурного, положим, ничего не делаю, но… — Конечно можно делать и на всяком месте хорошее, — сказала она, быстрым и проникнутым взглядом смотря на меня. — Именно на всяком месте, — вдруг прибавила она. О, я помню, я все эти мгновения помню! И еще хочу прибавить, что когда эта молодежь, эта милая молодежь, захочет сказать что-нибудь такое умное и проникнутое, то вдруг слишком искренно и наивно покажет лицом, что "вот, дескать, я говорю тебе теперь умное и проникнутое", — и не то чтоб из тщеславия, как наш брат, а таки видишь, что она сама ужасно ценит вс? это, и верует, и уважает, и думает, что и вы вс? это точно так же, как она, уважаете. О искренность! Вот тем-то и побеждают. А в ней как было прелестно! Помню, ничего не забыл! Когда она вышла, я разом порешил. В тот же день я пошел на последние поиски и узнал об ней всю остальную, уже текущую подноготную; прежнюю подноготную я знал уже всю от Лукерьи, которая тогда служила у них и которую я уже несколько дней тому подкупил. Эта подноготная была так ужасна, что я и не понимаю, как еще можно было смеяться, как она давеча, и любопытствовать о словах Мефистофеля, сама будучи под таким ужасом. Но — молодежь! Именно это подумал тогда об ней с гордостью и с радостью, потому что тут ведь и великодушие: дескать, хоть и на краю гибели, а великие слова Гете сияют. Молодость всегда хоть капельку и хоть в кривую сторону да великодушна. То есть я ведь про нее, про нее одну. И главное, я тогда смотрел уж на нее как на мою и не сомневался в моем могуществе. Знаете, пресладострастная это мысль, когда уж не сомневаешься-то. Но что со мной? Если я так буду, то когда я соберу все в точку? Скорей, скорей — дело совсем не в том, о

боже! II БРАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ "Подноготную", которую я узнал об ней, объясню в одном слове: отец и мать померли, давно уже, три года перед тем, а осталась она у беспорядочных теток. То есть их мало назвать беспорядочными. Одна тетка вдова, многосемейная, шесть человек детей, мал мала меньше, другая в девках, старая, скверная. Обе скверные. Отец ее был чиновник, но из писарей, и всего лишь личный дворянин — одним словом: вс? мне на руку. Я являлся как бы из высшего мира: вс? же отставной штабс-капитан блестящего полка, родовой дворянин, независим и проч., а что касса ссуд, то тетки на это только с уважением могли смотреть. У теток три года была в рабстве, но все-таки где-то экзамен выдержала, — успела выдержать, урвалась выдержать, из-под поденной безжалостной работы, — а это значило же что-нибудь в стремлении к высшему и благородному с ее стороны! Я ведь для чего хотел жениться? А впрочем, обо мне наплевать, это потом… И в этом ли дело! Детей теткиных учила, белье шила, а под конец не только белье, а, с ее грудью, и полы мыла. Попросту они даже ее били, попрекали куском. Кончили тем, что намеревались продать. Тьфу! опускаю грязь подробностей. Потом она мне вс? подробно передала. Вс? это наблюдал целый год соседний толстый лавочник, но не простой лавочник, а с двумя бакалейными. Он уж двух жен усахарил и искал третью, вот и наглядел ее: "Тихая, дескать, росла в бедности, а я для сирот женюсь". Действительно, у него были сироты. Присватался, стал сговариваться с тетками, к тому же — пятьдесят лет ему; она в ужасе. Вот тут-то и зачастила ко мне для публикаций в "Голосе". Наконец, стала просить теток, чтоб только самую капельку времени дали подумать. Дали ей эту капельку, но только одну, другой не дали, заели: "Сами не знаем, что жрать и без лишнего рта". Я уж это вс? знал, а в тот день после утрешнего и порешил. Тогда вечером приехал купец, привез из лавки фунт конфет в полтинник; она с ним сидит, а я вызвал из кухни Лукерью и велел сходить к ней шепнуть, что я у ворот и желаю ей что-то сказать в самом неотложном виде. Я собою остался доволен. И вообще я весь тот день был ужасно доволен. Тут же у ворот ей, изумленной уже тем, что я ее вызвал, при Лукерье, я объяснил, что сочту за счастье и за честь… Во-вторых, чтоб не удивлялась моей манере и что у ворот: "Человек, дескать, прямой и изучил обстоятельства дела". И я не врал, что прямой. Ну, наплевать. Говорил же я не только прилично, то есть выказав человека с воспитанием, но и оригинально, а это главное. Что ж, разве в этом грешно признаваться? Я хочу себя судить и сужу. Я должен говорить pro и contra, [1] и говорю. Я и после вспоминал про то с наслаждением, хоть это и глупо: я прямо объявил тогда, без всякого смущения, что, во-первых, не особенно талантлив, не особенно умен, может быть, даже не особенно добр, довольно дешевый эгоист (я помню это выражение, я его, дорогой идя, тогда сочинил и остался доволен) и что — очень, очень может быть — заключаю в себе много неприятного и в других отношениях. Вс? это сказано было с особенного рода гордостью, — известно, как это говорится. Конечно, я имел настолько вкуса, что, объявив благородно мои недостатки, не пустился объявлять о достоинствах: "Но, дескать, взамен того имею то-то, то-то и это-то". Я видел, что она пока еще ужасно боится, но я не смягчил ничего, мало того, видя, что боится, нарочно усилил: прямо сказал, что сыта будет, ну а нарядов, театров, балов — этого ничего не будет, разве впоследствии, когда цели достигну. Этот строгий тон решительно увлекал меня. Я прибавил, и тоже как можно вскользь, что если я и взял такое занятие, то есть держу эту кассу, то имею одну лишь цель, есть, дескать, такое одно обстоятельство… Но ведь я имел право так говорить: я действительно имел такую цель и такое обстоятельство. Постойте, господа, я всю жизнь ненавидел эту кассу ссуд

первый, но ведь, в сущности, хоть и смешно говорить самому себе таинственными фразами, а я ведь "мстил же обществу", действительно, действительно, действительно! Так что острота ее утром насчет того, что я "мщу", была несправедлива. То есть, видите ли, скажи я ей прямо словами: "Да, я мщу обществу", и она бы расхохоталась, как давеча утром, и вышло бы в самом деле смешно. Ну а косвенным намеком, пустив таинственную фразу, оказалось, что можно подкупить воображение. К тому же я тогда уже ничего не боялся: я ведь знал, что толстый лавочник во всяком случае ей гаже меня и что я, стоя у ворот, являюсь освободителем. Понимал же ведь я это. О, подлости человек особенно хорошо понимает! Но подлости ли? Как ведь тут судить человека? Разве не любил я ее даже тогда уже? Постойте: разумеется, я ей о благодеянии тогда ни полслова; напротив, о, напротив: "Это я, дескать, остаюсь облагодетельствован, а не вы". Так что я это даже словами выразил, не удержался, и вышло, может быть, глупо, потому что заметил беглую складку в лице. Но в целом решительно выиграл. Постойте, если всю эту грязь припоминать, то припомню и последнее свинство: я стоял, а в голове шевелилось: ты высок, строен, воспитан и — и наконец, говоря без фанфаронства, ты недурен собой. Вот что играло в моем уме. Разумеется, она тут же у ворот сказала мне "да". Но… но я должен прибавить: она тут же у ворот долго думала, прежде чем сказала "да". Так задумалась, так задумалась, что я уже спросил было: "Ну что ж?" — и даже не удержался, с этаким шиком спросил: "Ну что же-с?" — с словоерсом. — Подождите, я думаю. И такое у ней было серьезное личико, такое — что уж тогда бы я мог прочесть! А я-то обижался: "Неужели, думаю, она между мной и купцом выбирает?" О, тогда я еще не понимал! Я ничего, ничего еще тогда не понимал! До сегодня не понимал! Помню, Лукерья выбежала за мною вслед, когда я уже уходил, остановила на дороге и сказала впопыхах: "Бог вам заплатит, сударь, что нашу барышню милую берете, только вы ей это не говорите, она гордая". Ну, гордая! Я, дескать, сам люблю горденьких. Гордые особенно хороши, когда… ну, когда уж не сомневаешься в своем над ними могуществе, а? О, низкий, неловкий человек! О, как я был доволен! Знаете, ведь у ней, когда она тогда у ворот стояла задумавшись, чтоб сказать мне "да", а я удивлялся, знаете ли, что у ней могла быть даже такая мысль: "Если уж несчастье и там и тут, так не лучше ли прямо самое худшее выбрать, то есть толстого лавочника, пусть поскорей убьет пьяный до смерти!" А? Как вы думаете, могла быть такая мысль? Да и теперь не понимаю, и теперь ничего не понимаю! Я сейчас только что сказал, что она могла иметь эту мысль: что из двух несчастий выбрать худшее, то есть купца? А кто был для нее тогда хуже — я аль купец? Купец или закладчик, цитующий Гете? Это еще вопрос! Какой вопрос? И этого не понимаешь: ответ на столе лежит, а ты говоришь "вопрос"! Да и наплевать на меня! Не во мне совсем дело… А кстати, что для меня теперь — во мне или не во мне дело? Вот этого так уж совсем решить не могу. Лучше бы спать лечь. Голова болит… III БЛАГОРОДНЕЙШИЙ ИЗ ЛЮДЕЙ, НО САМ ЖЕ И НЕ ВЕРЮ Не заснул. Да и где ж, стучит какой-то пульс в голове. Хочется вс? это усвоить, всю эту грязь. О, грязь! О, из какой грязи я тогда ее вытащил! Ведь должна же она была это понимать, оценить мой поступок! Нравились мне тоже разные мысли, например, что мне сорок один, а ей только что шестнадцать. Это меня пленяло, это ощущение неравенства, очень сладостно это, очень сладостно. Я, например, хотел сделать свадьбу ? l'anglais [2] то есть решительно вдвоем, при двух разве свидетелях, из коих одна Лукерья, и потом тотчас в вагон, например хоть в Москву (там у меня кстати же случилось дело), в гостиницу, недели на две. Она воспротивилась, она не позволила, и я принужден был ездить к теткам с

почтением, как к родственницам, от которых беру ее. Я уступил, и теткам оказано было надлежащее. Я даже подарил этим тварям по сту рублей и еще обещал, ей, разумеется, про то не сказавши, чтобы не огорчить ее низостью обстановки. Тетки тотчас же стали шелковые. Был спор и о приданом: у ней ничего не было, почти буквально, но она ничего и не хотела. Мне, однако же, удалось доказать ей, что совсем ничего — нельзя, и приданое сделал я, потому что кто же бы ей что сделал? Ну, да наплевать обо мне. Разные мои идеи, однако же, я ей все-таки успел тогда передать, чтобы знала по крайней мере. Поспешил даже, может быть. Главное, она с самого начала, как ни крепилась, а бросилась ко мне с любовью, встречала, когда я приезжал по вечерам, с восторгом, рассказывала своим лепетом (очаровательным лепетом невинности!) вс? свое детство, младенчество, про родительский дом, про отца и мать. Но я вс? это упоение тут же обдал сразу холодной водой. Вот в том-то и была моя идея. На восторги я отвечал молчанием, благосклонным, конечно… но вс? же она быстро увидала, что мы разница и что я — загадка. А я, главное, и бил на загадку! Ведь для того, чтобы загадать загадку, я, может быть, и всю эту глупость сделал! Во-первых, строгость, — так под строгостью и в дом ее ввел. Одним словом, тогда, ходя и будучи доволен, я создал целую систему. О, без всякой натуги сама собой вылилась. Да и нельзя было иначе, я должен был создать эту систему по неотразимому обстоятельству, — что ж я, в самом деле, клевещу-то на себя! Система была истинная. Нет, послушайте, если уж судить человека, то судить, зная дело… Слушайте. Как бы это начать, потому что это очень трудно. Когда начнешь оправдываться — вот и трудно. Видите ли: молодежь презирает, например, деньги, — я тотчас же налег на деньги; я напер на деньги. И так налег, что она вс? больше и больше начала умолкать. Раскрывала большие глаза, слушала, смотрела и умолкала. Видите ли: молодежь великодушна, то есть хорошая молодежь, великодушна и порывиста, но мало терпимости, чуть что не так — и презрение. А я хотел широкости, я хотел привить широкость прямо к сердцу, привить к сердечному взгляду, не так ли? Возьму пошлый пример: как бы я, например, объяснил мою кассу ссуд такому характеру? Разумеется, я не прямо заговорил, иначе вышло бы, что я прошу прощения за кассу ссуд, а я, так сказать, действовал гордостью, говорил почти молча. А я мастер молча говорить, я всю жизнь мою проговорил молча и прожил сам с собою целые трагедии молча. О, ведь и я же был несчастлив! Я был выброшен всеми, выброшен и забыт, и никто-то, никто-то этого не знает! И вдруг эта шестнадцатилетняя нахватала обо мне потом подробностей от подлых людей и думала, что вс? знает, а сокровенное между тем оставалось лишь в груди этого человека! Я вс? молчал, и особенно, особенно с ней молчал, до самого вчерашнего дня, — почему молчал? А как гордый человек. Я хотел, чтоб она узнала сама, без меня, но уже не по рассказам подлецов, а чтобы сама догадалась об этом человеке и постигла его! Принимая ее в дом свой, я хотел полного уважения. Я хотел, чтоб она стояла предо мной в мольбе за мои страдания — и я стоил того. О, я всегда был горд, я всегда хотел или всего, или ничего! Вот именно потому, что я не половинщик в счастье, а всего захотел, — именно потому я и вынужден был так поступить тогда: "Дескать, сама догадайся и оцени!" Потому что, согласитесь, ведь если б я сам начал ей объяснять и подсказывать, вилять и уважения просить, — так ведь я вс? равно что просил бы милостыни… А впрочем… а впрочем, что ж я об этом говорю! Глупо, глупо, глупо и глупо! Я прямо и безжалостно (и я напираю на то, что безжалостно) объяснил ей тогда, в двух словах, что великодушие молодежи прелестно, но — гроша не стоит. Почему не стоит? Потому что дешево ей достается, получилось не живши, вс? это, так сказать, "первые

впечатления бытия", а вот посмотрим-ка вас на труде! Дешевое великодушие всегда легко, и даже отдать жизнь — и это дешево, потому что тут только кровь кипит и сил избыток, красоты страстно хочется! Нет, возьмите-ка подвиг великодушия, трудный, тихий, неслышный, без блеску, с клеветой, где много жертвы и ни капли славы, — где вы, сияющий человек, пред всеми выставлены подлецом, тогда как вы честнее всех людей на земле, — ну-тка, попробуйте-ка этот подвиг, нет-с, откажетесь! А я — я только всю жизнь и делал, что носил этот подвиг. Сначала спорила, ух как, а потом начала примолкать, совсем даже, только глаза ужасно открывала, слушая, большие, большие такие глаза, внимательные. И… и кроме того, я вдруг увидал улыбку, недоверчивую, молчаливую, нехорошую. Вот с этой-то улыбкой я и ввел ее в мой дом. Правда и то, что ей уж некуда было идти… IV ВСЁ ПЛАНЫ И ПЛАНЫ Кто у нас тогда первый начал? Никто. Само началось с первого шага. Я сказал, что я ввел ее в дом под строгостью, однако с первого же шага смягчил. Еще невесте, ей было объяснено, что она займется приемом закладов и выдачей денег, и она ведь тогда ничего не сказала (это заметьте). Мало того, — принялась за дело даже с усердием. Ну, конечно, квартира, мебель — вс? осталось по-прежнему. Квартира — две комнаты: одна — большая зала, где отгорожена и касса, а другая, тоже большая, — наша комната, общая, тут и спальня. Мебель у меня скудная; даже у теток была лучше. Киот мой с лампадкой — это в зале, где касса; у меня же в комнате мой шкаф, и в нем несколько книг, и укладка, ключи у меня; ну, там постель, столы, стулья. Еще невесте сказал, что на наше содержание, то есть на пищу, мне, ей и Лукерье, которую я переманил, определяется в день рубль и не больше: "Мне, дескать, нужно тридцать тысяч в три года, а иначе денег не наживешь". Она не препятствовала, но я сам возвысил содержание на тридцать копеек. Тоже и театр. Я сказал невесте, что не будет театра, и, однако ж, положил раз в месяц театру быть, и прилично, в креслах. Ходили вместе, были три раза, смотрели "Погоню за счастьем" и "Птицы певчие", кажется. (О, наплевать, наплевать!) Молча ходили и молча возвращались. Почему, почему мы с самого начала принялись молчать? Сначала ведь ссор не было, а тоже молчание. Она вс? как-то, помню, тогда исподтишка на меня глядела; я, как заметил это, и усилил молчание. Правда, это я на молчание напер, а не она. С ее стороны раз или два были порывы, бросалась обнимать меня; но так как порывы были болезненные, истерические, а мне надо было твердого счастья, с уважением от нее, то я принял холодно. Да и прав был: каждый раз после порывов на другой день была ссора. То есть ссор не было, опять-таки, но было молчание и — вс? больше и больше дерзкий вид с ее стороны. "Бунт и независимость" — вот что было, только она не умела. Да, это кроткое лицо становилось вс? дерзче и дерзче. Верите ли, я ей становился поган, я ведь изучил это. А в том, что она выходила порывами из себя, в этом не было сомнения. Ну как, например, выйдя из такой грязи и нищеты, после мытья-то полов, начать вдруг фыркать на нашу бедность! Видите-с: была не бедность, а была экономия, а в чем надо — так и роскошь, в белье например, в чистоте. Я всегда и прежде мечтал, что чистота в муже прельщает жену. Впрочем, она не на бедность, а на мое будто бы скаредство в экономии: "Цели, дескать, имеет, твердый характер показывает". От театра вдруг сама отказалась. И вс? пуще и пуще насмешливая складка… а я усиливаю молчание, а я усиливаю молчание. Не оправдываться же? Тут главное — эта касса ссуд. Позвольте-с: я знал, что женщина, да еще шестнадцати лет, не может не подчиниться мужчине вполне. В женщинах нет оригинальности, это — это аксиома, даже и теперь, даже и теперь для меня аксиома! Что ж такое, что там в зале лежит: истина есть истина, и тут сам Милль ничего не поделает! А женщина

любящая, о, женщина любящая — даже пороки, даже злодейства любимого существа обоготворит. Он сам не подыщет своим злодействам таких оправданий, какие она ему найдет. Это великодушно, но не оригинально. Женщин погубила одна лишь неоригинальность. И что ж, повторяю, что вы мне указываете там на столе? Да разве это оригинально, что там на столе? О-о! Слушайте: в любви ее я был тогда уверен. Ведь бросалась же она ко мне и тогда на шею. Любила, значит, вернее — желала любить. Да, вот так это и было: желала любить, искала любить. А главное ведь в том, что тут и злодейств никаких таких не было, которым бы ей пришлось подыскивать оправдания. Вы говорите "закладчик", и все говорят. А что ж что закладчик? Значит, есть же причины, коли великодушнейший из людей стал закладчиком. Видите, господа, есть идеи… то есть, видите, если иную идею произнести, выговорить словами, то выйдет ужасно глупо. Выйдет стыдно самому. А почему? Нипочему. Потому, что мы все дрянь и правды не выносим, или уж я не знаю. Я сказал сейчас "великодушнейший из людей". Это смешно, а между тем ведь это так и было. Ведь это правда, то есть самая, самая правденская правда! Да, я имел право захотеть себя тогда обеспечить и открыть эту кассу: "Вы отвергли меня, вы, люди то есть, вы прогнали меня с презрительным молчанием. На мой страстный порыв к вам вы ответили мне обидой на всю мою жизнь. Теперь я, стало быть, вправе был оградиться от вас стеной, собрать эти тридцать тысяч рублей и окончить жизнь где-нибудь в Крыму, на Южном берегу, в горах и виноградниках, в своем имении, купленном на эти тридцать тысяч, а главное, вдали от всех вас, но без злобы на вас, с идеалом в душе, с любимой у сердца женщиной, с семьей, если бог пошлет, и — помогая окрестным поселянам". Разумеется, хорошо, что я это сам теперь про себя говорю, а то что могло быть глупее, если б я тогда ей это вслух расписал? Вот почему и гордое молчание, вот почему и сидели молча. Потому, что ж бы она поняла? Шестнадцать-то лет, первая-то молодость, — да что могла она понять из моих оправданий, из моих страданий? Тут прямолинейность, незнание жизни, юные дешевые убеждения, слепота куриная "прекрасных сердец", а главное тут — касса ссуд и — баста (а разве я был злодей в кассе ссуд, разве не видела она, как я поступал и брал ли я лишнее?)! О, как ужасна правда на земле! Эта прелесть, эта кроткая, это небо — она была тиран, нестерпимый тиран души моей и мучитель! Ведь я наклевещу на себя, если этого не скажу! Вы думаете, я ее не любил? Кто может сказать, что я ее не любил? Видите ли: тут ирония, тут вышла злая ирония судьбы и природы! Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще! (Моя, в частности!) Я ведь понимаю же теперь, что я в чем-то тут ошибся! Тут что-то вышло не так. Вс? было ясно, план мой был ясен как небо: "Суров, горд и в нравственных утешениях ни в чьих не нуждается, страдает молча". Так оно и было, не лгал, не лгал! "Увидит потом сама, что тут было великодушие, но только она не сумела заметить, — и как догадается об этом когда-нибудь, то оценит вдесятеро и падет в прах, сложа в мольбе руки". Вот план. Но тут я что-то забыл или упустил из виду. Не сумел я что-то тут сделать. Но довольно, довольно. И у кого теперь прощения просить? Кончено так кончено. Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!.. Что ж, я скажу правду, я не побоюсь стать пред правдой лицом к лицу: она виновата, она виновата!.. V КРОТКАЯ БУНТУЕТ Ссоры начались с того, что она вдруг вздумала выдавать деньги по-своему, ценить вещи выше стоимости и даже раза два удостоила со мной вступить на эту тему в спор. Я не согласился. Но тут подвернулась эта капитанша. Пришла старуха капитанша с медальоном — покойного мужа подарок, ну, известно, сувенир. Я выдал тридцать рублей. Принялась жалобно ныть, просить, чтоб сохранили вещь, — разумеется, сохраним. Ну, одним словом,

вдруг через пять дней приходит обменять на браслет, который не стоил и восьми рублей; я, разумеется, отказал. Должно быть, она тогда же угадала что-нибудь по глазам жены, но только она пришла без меня, и та обменяла ей медальон. Узнав в тот же день, я заговорил кротко, но твердо и резонно. Она сидела на постели, смотрела в землю, щелкая правым носком по коврику (ее жест); дурная улыбка стояла на ее губах. Тогда я, вовсе не возвышая голоса, объявил спокойно, что деньги мои, что я имею право смотреть на жизнь моими глазами, и — что когда я приглашал ее к себе в дом, то ведь ничего не скрыл от нее. Она вдруг вскочила, вдруг вся затряслась и — что бы вы думали — вдруг затопала на меня ногами; это был зверь, это был припадок, это был зверь в припадке. Я оцепенел от изумления: такой выходки я никогда не ожидал. Но не потерялся, я даже не сделал движения и опять прежним спокойным голосом прямо объявил, что с сих пор лишаю ее участия в моих занятиях. Она захохотала мне в лицо и вышла из квартиры. Дело в том, что выходить из квартиры она не имела права. Без меня никуда, таков был уговор еще в невестах. К вечеру она воротилась; я ни слова. Назавтра тоже с утра ушла, напослезавтра опять. Я запер кассу и направился к теткам. С ними я с самой свадьбы прервал — ни их к себе, ни сами к ним. Теперь оказалось, что она у них не была. Выслушали меня с любопытством и мне же насмеялись в глаза: "Так вам, говорят, и надо". Но я и ждал их смеха. Тут же младшую тетку, девицу, за сто рублей подкупил и двадцать пять дал вперед. Через два дня она приходит ко мне: "Тут, говорит, офицер, Ефимович, поручик, бывший ваш прежний товарищ в полку, замешан". Я был очень изумлен. Этот Ефимович более всего зла мне нанес в полку, а с месяц назад, раз и другой, будучи бесстыден, зашел в кассу под видом закладов и, помню, с женой тогда начал смеяться. Я тогда же подошел и сказал ему, чтоб он не осмеливался ко мне приходить, вспомня наши отношения; но и мысли об чем-нибудь таком у меня в голове не было, а так просто подумал, что нахал. Теперь же вдруг тетка сообщает, что с ним у ней уже назначено свидание и что всем делом орудует одна прежняя знакомая теток, Юлия Самсоновна, вдова, да еще полковница, — "к ней-то, дескать, ваша супруга и ходит теперь". Эту картину я сокращу. Всего мне стоило это дело рублей до трехсот, но в двое суток устроено было так, что я буду стоять в соседней комнате, за притворенными дверями, и слышать первый rendez-vous [3] наедине моей жены с Ефимовичем. В ожидании же, накануне, произошла у меня с ней одна краткая, но слишком знаменательная для меня сцена. Воротилась она перед вечером, села на постель, смотрит на меня насмешливо и ножкой бьет о коврик. Мне вдруг, смотря на нее, влетела тогда в голову идея, что весь этот последний месяц, или, лучше, две последние перед сим недели, она была совсем не в своем характере, можно даже сказать — в обратном характере: являлось существо буйное, нападающее, не могу сказать бесстыдное, но беспорядочное и само ищущее смятения. Напрашивающееся на смятение. Кротость, однако же, мешала. Когда этакая забуйствует, то хотя бы и перескочила меру, а вс? видно, что она сама себя только ломит, сама себя подгоняет и что с целомудрием и стыдом своим ей самой первой справиться невозможно. Оттого-то этакие и выскакивают порой слишком уж не в мерку, так что не веришь собственному наблюдающему уму. Привычная же к разврату душа, напротив, всегда смягчит, сделает гаже, но в виде порядка и приличия, который над вами же имеет претензию превосходствовать. — А правда, что вас из полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили? — вдруг спросила она, с дубу сорвав, и глаза ее засверкали. — Правда; меня, по приговору офицеров, попросили из полка удалиться, хотя, впрочем, я сам уже перед тем подал в отставку. — Выгнали как труса? — Да, они присудили как труса.

Но я отказался от дуэли не как трус, а потому, что не захотел подчиниться их тираническому приговору и вызывать на дуэль, когда не находил сам обиды. Знайте, — не удержался я тут, — что восстать действием против такой тирании и принять все последствия — значило выказать гораздо более мужества, чем в какой хотите дуэли. Я не сдержался, я этой фразой как бы пустился в оправдание себя; а ей только этого и надо было, этого нового моего унижения. Она злобно рассмеялась. — А правда, что вы три года потом по улицам в Петербурге как бродяга ходили, и по гривеннику просили, и под биллиардами ночевали? — Я и на Сенной в доме Вяземского ночевывал. Да, правда; в моей жизни было потом, после полка, много позора и падения, но не нравственного падения, потому что я сам же первый ненавидел мои поступки даже тогда. Это было лишь падение воли моей и ума и было вызвано лишь отчаянием моего положения. Но это прошло… — О, теперь вы лицо — финансист! То есть это намек на кассу ссуд. Но я уже успел сдержать себя. Я видел, что она жаждет унизительных для меня объяснений и — не дал их. Кстати же позвонил закладчик, и я вышел к нему в залу. После, уже через час, когда она вдруг оделась, чтоб выйти, остановилась предо мной и сказала: — Вы, однако ж, мне об этом ничего не сказали до свадьбы? Я не ответил, и она ушла. Итак, назавтра я стоял в этой комнате за дверями и слушал, как решалась судьба моя, а в кармане моем был револьвер. Она была приодета, сидела за столом, а Ефимович перед нею ломался. И что ж: вышло то (я к чести моей говорю это), вышло точь-в-точь то, что я предчувствовал и предполагал, хоть и не сознавая, что я предчувствую и предполагаю это. Не знаю, понятно ли выражаюсь. Вот что вышло. Я слушал целый час и целый час присутствовал при поединке женщины благороднейшей и возвышенной с светской развратной, тупой тварью, с пресмыкающеюся душой. И откуда, думал я, пораженный, откуда эта наивная, эта кроткая, эта малословесная знает вс? это? Остроумнейший автор великосветской комедии не мог бы создать этой сцены насмешек, наивнейшего хохота и святого презрения добродетели к пороку. И сколько было блеска в ее словах и маленьких словечках; какая острота в быстрых ответах, какая правда в ее осуждении! И в то же время столько девического почти простодушия. Она смеялась ему в глаза над его объяснениями в любви, над его жестами, над его предложениями. Приехав с грубым приступом к делу и не предполагая сопротивления, он вдруг так и осел. Сначала я бы мог подумать, что тут у ней просто кокетство — "кокетство хоть и развратного, но остроумного существа, чтоб дороже себя выставить". Но нет, правда засияла как солнце, и сомневаться было нельзя. Из ненависти только ко мне, напускной и порывистой, она, неопытная, могла решиться затеять это свидание, но как дошло до дела — то у ней тотчас открылись глаза. Просто металось существо, чтобы оскорбить меня чем бы то ни было, но, решившись на такую грязь, не вынесло беспорядка. И ее ли, безгрешную и чистую, имеющую идеал, мог прельстить Ефимович или кто хотите из этих великосветских тварей? Напротив, он возбудил лишь смех. Вся правда поднялась из ее души, и негодование вызвало из сердца сарказм. Повторяю, этот шут под конец совсем осовел и сидел нахмурившись, едва отвечая, так что я даже стал бояться, чтоб не рискнул оскорбить ее из низкого мщения. И опять повторяю: к чести моей, эту сцену я выслушал почти без изумления. Я как будто встретил одно знакомое. Я как будто шел затем, чтоб это встретить. Я шел, ничему не веря, никакому обвинению, хотя и взял револьвер в карман, — вот правда! И мог разве я вообразить ее другою? Из-за чего ж я любил, из-за чего ж я ценил ее, из-за чего ж женился на ней? О, конечно, я слишком убедился в том, сколь она меня тогда ненавидела, но убедился и в том, сколь она непорочна. Я прекратил сцену вдруг, отворив двери.

Ефимович вскочил, я взял ее за руку и пригласил со мной выйти. Ефимович нашелся и вдруг звонко и раскатисто расхохотался: — О, против священных супружеских прав я не возражаю, уводите, уводите! И знаете, — крикнул он мне вслед, — хоть с вами и нельзя драться порядочному человеку, но, из уважения к вашей даме, я к вашим услугам… Если вы, впрочем, сами рискнете… — Слышите! — остановил я ее на секунду на пороге. Затем всю дорогу до дома ни слова. Я вел ее за руку, и она не сопротивлялась. Напротив, она была ужасно поражена, но только до дома. Придя домой, она села на стул и уперлась в меня взглядом. Она была чрезвычайно бледна; губы хоть и сложились тотчас же в насмешку, но смотрела она уже с торжественным и суровым вызовом и, кажется, серьезно убеждена была в первые минуты, что я убью ее из револьвера. Но я молча вынул револьвер из кармана и положил на стол. Она смотрела на меня и на револьвер. (Заметьте: револьвер этот был ей уже знаком. Заведен он был у меня и заряжен с самого открытия кассы. Открывая кассу, я порешил не держать ни огромных собак, ни сильного лакея, как, например, держит Мозер. У меня посетителям отворяет кухарка. Но занимающимся нашим ремеслом невозможно лишить себя, на всякий случай, самозащиты, и я завел заряженный револьвер. Она в первые дни, как вошла ко мне в дом, очень интересовалась этим револьвером, расспрашивала, и я объяснил даже ей устройство и систему, кроме того, убедил раз выстрелить в цель. Заметьте вс? это.) Не обращая внимания на ее испуганный взгляд, я, полураздетый, лег на постель. Я был очень обессилен; было уже около одиннадцати часов. Она продолжала сидеть на том же месте, не шевелясь, еще около часа, затем потушила свечу и легла, тоже одетая, у стены, на диване. В первый раз не легла со мной, — это тоже заметьте… VI СТРАШНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ Теперь это страшное воспоминание… Я проснулся утром, я думаю, в восьмом часу, и в комнате было уже почти совсем светло. Я проснулся разом с полным сознанием и вдруг открыл глаза. Она стояла у стола и держала в руках револьвер. Она не видела, что я проснулся и гляжу. И вдруг я вижу, что она стала надвигаться ко мне с револьвером в руках. Я быстро закрыл глаза и притворился крепко спящим. Она дошла до постели и стала надо мной. Я слышал вс?; хоть и настала мертвая тишина, но я слышал эту тишину. Тут произошло одно судорожное движение — и я вдруг, неудержимо, открыл глаза против воли. Она смотрела прямо на меня, мне в глаза, и револьвер уже был у моего виска. Глаза наши встретились. Но мы глядели друг на друга не более мгновения. Я с силой закрыл глаза опять и в то же мгновение решил изо всей силы моей души, что более уже не шевельнусь и не открою глаз, что бы ни ожидало меня. В самом деле, бывает, что и глубоко спящий человек вдруг открывает глаза, даже приподымает на секунду голову и оглядывает комнату, затем, через мгновение, без сознания кладет опять голову на подушку и засыпает, ничего не помня. Когда я, встретившись с ее взглядом и ощутив револьвер у виска, вдруг закрыл опять глаза и не шевельнулся, как глубоко спящий, — она решительно могла предположить, что я в самом деле сплю и что ничего не видал, тем более что совсем невероятно, увидав то, что я увидел, закрыть в такое мгновение опять глаза. Да, невероятно. Но она все-таки могла угадать и правду, — это-то и блеснуло в уме моем вдруг, вс? в то же мгновение. О, какой вихрь мыслей, ощущений пронесся менее чем в мгновение в уме моем, и да здравствует электричество человеческой мысли! В таком случае (почувствовалось мне), если она угадала правду и знает, что я не сплю, то я уже раздавил ее моею готовностью принять смерть и у ней теперь может дрогнуть рука. Прежняя решимость может разбиться о новое чрезвычайное впечатление. Говорят, что стоящие на высоте как бы тянутся сами книзу, в бездну. Я думаю, много

самоубийств и убийств совершилось потому только, что револьвер уже был взят в руки. Тут тоже бездна, тут покатость в сорок пять градусов, о которую нельзя не скользнуть, и вас что-то вызывает непобедимо спустить курок. Но сознание, что я вс? видел, вс? знаю и жду от нее смерти молча, — могло удержать ее на покатости. Тишина продолжалась, и вдруг я ощутил у виска, у волос моих, холодное прикосновение железа. Вы спросите: твердо ли я надеялся, что спасусь? Отвечу вам, как перед богом: не имел никакой надежды, кроме разве одного шанса из ста. Для чего же принимал смерть? А я спрошу: на что мне была жизнь после револьвера, поднятого на меня обожаемым мною существом? Кроме того, я знал всей силой моего существа, что между нами в это самое мгновение идет борьба, страшный поединок на жизнь и смерть, поединок вот того самого вчерашнего труса, выгнанного за трусость товарищами. Я знал это, и она это знала, если только угадала правду, что я не сплю. Может быть, этого и не было, может быть, я этого и не мыслил тогда, но это вс? же должно было быть, хоть без мысли, потому что я только и делал, что об этом думал потом каждый час моей жизни. Но вы зададите опять вопрос: зачем же ее не спас от злодейства? О, я тысячу раз задавал себе потом этот вопрос — каждый раз, когда, с холодом в спине, припоминал ту секунду. Но душа моя была тогда в мрачном отчаянии: я погибал, я сам погибал, так кого ж бы я мог спасти? И почем вы знаете, хотел ли бы еще я тогда кого спасти? Почем знать, что я тогда мог чувствовать? Сознание, однако ж, кипело; секунды шли, тишина была мертвая; она вс? стояла надо мной, — и вдруг я вздрогнул от надежды! Я быстро открыл глаза. Ее уже не было в комнате. Я встал с постели: я победил, — и она была навеки побеждена! Я вышел к самовару. Самовар подавался у нас всегда в первой комнате, и чай разливала всегда она. Я сел к столу молча и принял от нее стакан чая. Минут через пять я на нее взглянул. Она была страшно бледна, еще бледнее вчерашнего, и смотрела на меня. И вдруг — и вдруг, видя, что я смотрю на нее, она бледно усмехнулась бледными губами, с робким вопросом в глазах. "Стало быть, вс? еще сомневается и спрашивает себя: знает он иль не знает, видел он иль не видел?" Я равнодушно отвел глаза. После чая запер кассу, пошел на рынок и купил железную кровать и ширмы. Возвратясь домой, я велел поставить кровать в зале, а ширмами огородить ее. Это была кровать для нее, но я ей не сказал ни слова. И без слов поняла, через эту кровать, что я "вс? видел и вс? знаю" и что сомнений уже более нет. На ночь я оставил револьвер как всегда на столе. Ночью она молча легла в эту новую свою постель: брак был расторгнут, "побеждена, но не прощена". Ночью с нею сделался бред, а наутро горячка. Она пролежала шесть недель. ГЛАВА ВТОРАЯ I СОН ГОРДОСТИ Лукерья сейчас объявила, что жить у меня не станет и, как похоронят барыню, — сойдет. Молился на коленях пять минут, а хотел молиться час, но вс? думаю, думаю, и вс? больные мысли, и больная голова, — чего ж тут молиться — один грех! Странно тоже, что мне спать не хочется: в большом, в слишком большом горе, после первых сильнейших взрывов, всегда спать хочется. Приговоренные к смертной казни чрезвычайно, говорят, крепко спят в последнюю ночь. Да так и надо, это по природе, а то силы бы не вынесли… Я лег на диван, но не заснул… …Шесть недель болезни мы ходили тогда за ней день и ночь — я, Лукерья и ученая сиделка из больницы, которую я нанял. Денег я не жалел, и мне даже хотелось на нее тратить. Доктора я позвал Шредера и платил ему по десяти рублей за визит. Когда она пришла в сознание, я стал меньше являться на глаза. А впрочем, что ж я описываю. Когда она встала совсем, то тихо и молча села в моей комнате за особым столом, который я тоже купил для нее в это время… Да, это правда, мы совершенно молчали; то есть мы начали

даже потом говорить, но — вс? обычное. Я, конечно, нарочно не распространялся, но я очень хорошо заметил, что и она как бы рада была не сказать лишнего слова. Мне показалось это совершенно естественным с ее стороны: "Она слишком потрясена и слишком побеждена, — думал я, — и, уж конечно, ей надо дать позабыть и привыкнуть". Таким образом мы и молчали, но я каждую минуту приготовлялся про себя к будущему. Я думал, что и она тоже, и для меня было страшно занимательно угадывать: об чем именно она теперь про себя думает? Еще скажу: о, конечно, никто не ведает, сколько я вынес, стеная над ней в ее болезни. Но я стенал про себя и стоны давил в груди даже от Лукерьи. Я не мог представить, предположить даже не мог, чтоб она умерла, не узнав всего. Когда же она вышла из опасности и здоровье стало возвращаться, я, помню это, быстро и очень успокоился. Мало того, я решил отложить наше будущее как можно на долгое время, а оставить пока вс? в настоящем виде. Да, тогда случилось со мной нечто странное и особенное, иначе не умею назвать: я восторжествовал, и одного сознания о том оказалось совершенно для меня довольно. Вот так и прошла вся зима. О, я был доволен, как никогда не бывал, и это всю зиму. Видите: в моей жизни было одно страшное внешнее обстоятельство, которое до тех пор, то есть до самой катастрофы с женой, каждый день и каждый час давило меня, а именно — потеря репутации и тот выход из полка. В двух словах: была тираническая несправедливость против меня. Правда, меня не любили товарищи за тяжелый характер и, может быть, за смешной характер, хотя часто бывает ведь так, что возвышенное для вас, сокровенное и чтимое вами в то же время смешит почему-то толпу ваших товарищей. О, меня не любили никогда даже в школе. Меня всегда и везде не любили. Меня и Лукерья не может любить. Случай же в полку был хоть и следствием нелюбви ко мне, но без сомнения носил случайный характер. Я к тому это, что нет ничего обиднее и несноснее, как погибнуть от случая, который мог быть и не быть, от несчастного скопления обстоятельств, которые могли пройти мимо, как облака. Для интеллигентного существа унизительно. Случай был следующий. В антракте, в театре, я вышел в буфет. Гусар А-в, вдруг войдя, громко при всех бывших тут офицерах и публике заговорил с двумя своими же гусарами об том, что в коридоре капитан нашего полка Безумцев сейчас только наделал скандалу "и, кажется, пьяный". Разговор не завязался, да и была ошибка, потому что капитан Безумцев пьян не был и скандал был, собственно, не скандал. Гусары заговорили о другом, тем и кончилось, но назавтра анекдот проник в наш полк, и тотчас же у нас заговорили, что в буфете из нашего полка был только я один и когда гусар А-в дерзко отнесся о капитане Безумцеве, то я не подошел к А-ву и не остановил его замечанием. Но с какой же бы стати? Если он имел зуб на Безумцева, то дело это было их личное, и мне чего ж ввязываться? Между тем офицеры начали находить, что дело было не личное, а касалось и полка, а так как офицеров нашего полка тут был только я, то тем и доказал всем бывшим в буфете офицерам и публике, что в полку нашем могут быть офицеры, не столь щекотливые насчет чести своей и полка. Я не мог согласиться с таким определением. Мне дали знать, что я могу еще вс? поправить, если даже и теперь, хотя и поздно, захочу формально объясниться с А-м. Я этого не захотел и так как был раздражен, то отказался с гордостью. Затем тотчас же подал в отставку, — вот вся история. Я вышел гордый, но разбитый духом. Я упал волей и умом. Тут как раз подошло, что сестрин муж в Москве промотал наше маленькое состояние и мою в нем часть, крошечную часть, но я остался без гроша на улице. Я бы мог взять частную службу, но я не взял: после блестящего мундира я не мог пойти куда-нибудь на железную дорогу. Итак — стыд так стыд, позор так позор, падение так падение, и чем

хуже, тем лучше, — вот что я выбрал. Тут три года мрачных воспоминаний и даже дом Вяземского. Полтора года назад умерла в Москве богатая старуха, моя крестная мать, и неожиданно, в числе прочих, оставила и мне по завещанию три тысячи. Я подумал и тогда же решил судьбу свою. Я решился на кассу ссуд, не прося у людей прощения: деньги, затем угол и — новая жизнь вдали от прежних воспоминаний, — вот план. Тем не менее мрачное прошлое и навеки испорченная репутация моей чести томили меня каждый час, каждую минуту. Но тут я женился. Случайно или нет — не знаю. Но вводя ее в дом, я думал, что ввожу друга, мне же слишком был надобен друг. Но я видел ясно, что друга надо было приготовить, доделать и даже победить. И мог ли я что-нибудь объяснить так сразу этой шестнадцатилетней и предубежденной? Например, как мог бы я, без случайной помощи происшедшей страшной катастрофы с револьвером, уверить ее, что я не трус и что меня обвинили в полку как труса несправедливо? Но катастрофа подоспела кстати. Выдержав револьвер, я отмстил всему моему мрачному прошедшему. И хоть никто про то не узнал, но узнала она, а это было вс? для меня, потому что она сама была вс? для меня, вся надежда моего будущего в мечтах моих! Она была единственным человеком, которого я готовил себе, а другого и не надо было, — и вот она вс? узнала; она узнала по крайней мере, что несправедливо поспешила присоединиться к врагам моим. Эта мысль восхищала меня. В глазах ее я уже не мог быть подлецом, а разве лишь странным человеком, но и эта мысль теперь, после всего, что произошло, мне вовсе не так не нравилась: странность не порок, напротив, иногда завлекает женский характер. Одним словом, я нарочно отдалил развязку: того, что произошло, было слишком пока довольно для моего спокойствия и заключало слишком много картин и матерьяла для мечтаний моих. В том-то и скверность, что я мечтатель: с меня хватило матерьяла, а об ней я думал, что подождет. Так прошла вся зима, в каком-то ожидании чего-то. Я любил глядеть на нее украдкой, когда она сидит, бывало, за своим столиком. Она занималась работой, бельем, а по вечерам иногда читала книги, которые брала из моего шкафа. Выбор книг в шкафе тоже должен был свидетельствовать в мою пользу. Не выходила она почти никуда. Перед сумерками, после обеда, я выводил ее каждый день гулять, и мы делали моцион, но не совершенно молча, как прежде. Я именно старался делать вид, что мы не молчим и говорим согласно, но, как я сказал уже, сами мы оба так делали, что не распространялись. Я делал нарочно, а ей, думал я, необходимо "дать время". Конечно странно, что мне ни разу, почти до конца зимы, не пришло в голову, что я вот исподтишка люблю смотреть на нее, а ни одного-то ее взгляда за всю зиму я не поймал на себе! Я думал, что в ней это робость. К тому же она имела вид такой робкой кротости, такого бессилия после болезни. Нет, лучше выжди и — "и она вдруг сама подойдет к тебе…" Эта мысль восхищала меня неотразимо. Прибавлю одно: иногда я как будто нарочно разжигал себя самого и действительно доводил свой дух и ум до того, что как будто впадал на нее в обиду. И так продолжалось по нескольку времени. Но ненависть моя никогда не могла созреть и укрепиться в душе моей. Да и сам я чувствовал, что как будто это только игра. Да и тогда, хоть и разорвал я брак, купив кровать и ширмы, но никогда, никогда не мог я видеть в ней преступницу. И не потому, что судил о преступлении ее легкомысленно, а потому, что имел смысл совершенно простить ее, с самого первого дня, еще прежде даже, чем купил кровать. Одним словом, это странность с моей стороны, ибо я нравственно строг. Напротив, в моих глазах она была так побеждена, была так унижена, так раздавлена, что я мучительно жалел ее иногда, хотя мне при всем этом решительно нравилась иногда идея об ее унижении. Идея этого неравенства нашего нравилась… Мне

случилось в эту зиму нарочно сделать несколько добрых поступков. Я простил два долга, я дал одной бедной женщине без всякого заклада. И жене я не сказал про это, и вовсе не для того, чтобы она узнала, сделал; но женщина сама пришла благодарить, и чуть не на коленях. Таким образом огласилось; мне показалось, что про женщину она действительно узнала с удовольствием. Но надвигалась весна, был уже апрель в половине, вынули двойные рамы, и солнце стало яркими пучками освещать наши молчаливые комнаты. Но пелена висела передо мною и слепила мой ум. Роковая, страшная пелена! Как это случилось, что вс? это вдруг упало с глаз и я вдруг прозрел и вс? понял! Случай ли это был, день ли пришел такой срочный, солнечный ли луч зажег в отупевшем уме моем мысль и догадку? Нет, не мысль и не догадка были тут, а тут вдруг заиграла одна жилка, замертвевшая было жилка, затряслась и ожила и озарила всю отупевшую мою душу и бесовскую гордость мою. Я тогда точно вскочил вдруг с места. Да и случилось оно вдруг и внезапно. Это случилось перед вечером, часов в пять, после обеда… II ПЕЛЕНА ВДРУГ УПАЛА Два слова прежде того. Еще за месяц я заметил в ней странную задумчивость, не то что молчание, а уже задумчивость. Это тоже я заметил вдруг. Она тогда сидела за работой, наклонив голову к шитью, и не видала, что я гляжу на нее. И вдруг меня тут же поразило, что она такая стала тоненькая, худенькая, лицо бледненькое, губы побелели, — меня вс? это, в целом, вместе с задумчивостью, чрезвычайно и разом фраппировало. Я уже и прежде слышал маленький сухой кашель, по ночам особенно. Я тотчас встал и отправился просить ко мне Шредера, ей ничего не сказавши. Шредер прибыл на другой день. Она была очень удивлена и смотрела то на Шредера, то на меня. — Да я здорова, — сказала она, неопределенно усмехнувшись. Шредер ее не очень осматривал (эти медики бывают иногда свысока небрежны), а только сказал мне в другой комнате, что это осталось после болезни и что с весной недурно куда-нибудь съездить к морю или, если нельзя, то просто переселиться на дачу. Одним словом, ничего не сказал, кроме того, что есть слабость или там что-то. Когда Шредер вышел, она вдруг сказала мне опять, ужасно серьезно смотря на меня: — Я совсем, совсем здорова. Но сказавши, тут же вдруг покраснела, видимо, от стыда. Видимо, это был стыд. О, теперь я понимаю: ей было стыдно, что я еще муж ее , забочусь об ней, вс? еще будто бы настоящий муж. Но тогда я не понял и краску приписал смирению. (Пелена!) И вот, месяц после того, в пятом часу, в апреле, в яркий солнечный день я сидел у кассы и вел расчет. Вдруг слышу, что она, в нашей комнате, за своим столом, за работой, тихо-тихо… запела. Эта новость произвела на меня потрясающее впечатление, да и до сих пор я не понимаю его. До тех пор я почти никогда не слыхал ее поющую, разве в самые первые дни, когда ввел ее в дом и когда еще могли резвиться, стреляя в цель из револьвера. Тогда еще голос ее был довольно сильный, звонкий, хотя неверный, но ужасно приятный и здоровый. Теперь же песенка была такая слабенькая — о, не то чтобы заунывная (это был какой-то романс), но как будто бы в голосе было что-то надтреснутое, сломанное, как будто голосок не мог справиться, как будто сама песенка была больная. Она пела вполголоса, и вдруг, поднявшись, голос оборвался, — такой бедненький голосок, так он оборвался жалко; она откашлялась и опять тихо-тихо, чуть-чуть, запела… Моим волненьям засмеются, но никогда никто не поймет, почему я заволновался! Нет, мне еще не было ее жаль, а это было что-то совсем еще другое. Сначала, по крайней мере в первые минуты, явилось вдруг недоумение и страшное удивление, страшное и странное, болезненное и почти что мстительное: "Поет, и при мне! Забыла она про меня, что ли?" Весь потрясенный, я оставался на месте, потом вдруг встал,

взял шляпу и вышел, как бы не соображая. По крайней мере не знаю, зачем и куда. Лукерья стала подавать пальто. — Она поет? — сказал я Лукерье невольно. Та не понимала и смотрела на меня, продолжая не понимать; впрочем, я был действительно непонятен. — Это она в первый раз поет? — Нет, без вас иногда поет, — ответила Лукерья. Я помню вс?. Я сошел лестницу, вышел на улицу и пошел было куда попало. Я прошел до угла и стал смотреть куда-то. Тут проходили, меня толкали, я не чувствовал. Я подозвал извозчика и нанял было его к Полицейскому мосту, не знаю зачем. Но потом вдруг бросил и дал ему двугривенный: — Это за то, что тебя потревожил, — сказал я, бессмысленно смеясь ему, но в сердце вдруг начался какой-то восторг. Я поворотил домой, учащая шаг. Надтреснутая, бедненькая, порвавшаяся нотка вдруг опять зазвенела в душе моей. Мне дух захватывало. Падала, падала с глаз пелена! Коль запела при мне, так про меня позабыла, — вот что было ясно и страшно. Это сердце чувствовало. Но восторг сиял в душе моей и пересиливал страх. О ирония судьбы! Ведь ничего другого не было и быть не могло в моей душе всю зиму, кроме этого же восторга, но я сам-то где был всю зиму? был ли я-то при моей душе? Я взбежал по лестнице очень спеша, не знаю, робко ли я вошел. Помню только, что весь пол как бы волновался и я как бы плыл по реке. Я вошел в комнату, она сидела на прежнем месте, шила, наклонив голову, но уже не пела. Бегло и нелюбопытно глянула было на меня, но не взгляд это был, а так только жест, обычный и равнодушный, когда в комнату входит кто-нибудь. Я прямо подошел и сел подле на стул, вплоть, как помешанный. Она быстро на меня посмотрела, как бы испугавшись: я взял ее за руку и не помню, что сказал ей, то есть хотел сказать, потому что я даже и не мог говорить правильно. Голос мой срывался и не слушался. Да я и не знал, что сказать, а только задыхался. — Поговорим… знаешь… скажи что-нибудь! — вдруг пролепетал я что-то глупое, — о, до ума ли было? Она опять вздрогнула и отшатнулась в сильном испуге, глядя на мое лицо, но вдруг — строгое удивление выразилось в глазах ее. Да, удивление, и строгое. Она смотрела на меня большими глазами. Эта строгость, это строгое удивление разом так и размозжили меня: "Так тебе еще любви? любви?" — как будто спросилось вдруг в этом удивлении, хоть она и молчала. Но я вс? прочел, вс?. Вс? во мне сотряслось, и я так и рухнул к ногам ее. Да, я свалился ей в ноги. Она быстро вскочила, но я с чрезвычайною силою удержал ее за обе руки. И я понимал вполне мое отчаяние, о, понимал! Но, верите ли, восторг кипел в моем сердце до того неудержимо, что я думал, что я умру. Я целовал ее ноги в упоении и в счастье. Да, в счастье, безмерном и бесконечном, и это при понимании-то всего безвыходного моего отчаяния! Я плакал, говорил что-то, но не мог говорить. Испуг и удивление сменились в ней вдруг какою-то озабоченною мыслью, чрезвычайным вопросом, и она странно смотрела на меня, дико даже, она хотела что-то поскорее понять и улыбнулась. Ей было страшно стыдно, что я целую ее ноги, и она отнимала их, но я тут же целовал то место на полу, где стояла ее нога. Она видела это и стала вдруг смеяться от стыда (знаете это, когда смеются от стыда). Наступала истерика, я это видел, руки ее вздрагивали, — я об этом не думал и вс? бормотал ей, что я ее люблю, что я не встану, "дай мне целовать твое платье… так всю жизнь на тебя молиться…" Не знаю, не помню, — и вдруг она зарыдала и затряслась; наступил страшный припадок истерики. Я испугал ее. Я перенес ее на постель. Когда прошел припадок, то, присев на постели, она с страшно убитым видом схватила мои руки и просила меня успокоиться: "Полноте, не мучьте себя, успокойтесь!" — и опять начинала плакать. Весь этот вечер я не отходил от нее. Я вс? ей говорил, что повезу ее в Булонь купаться в море, теперь, сейчас, через две недели, что

у ней такой надтреснутый голосок, я слышал давеча, что я закрою кассу, продам Добронравову, что начнется вс? новое, а главное, в Булонь, в Булонь! Она слушала и вс? боялась. Вс? больше и больше боялась. Но главное для меня было не в том, а в том, что мне вс? более и неудержимее хотелось опять лежать у ее ног, и опять целовать, целовать землю, на которой стоят ее ноги, и молиться ей и — "больше я ничего, ничего не спрошу у тебя, — повторял я поминутно, — не отвечай мне ничего, не замечай меня вовсе, и только дай из угла смотреть на тебя, обрати меня в свою вещь, в собачонку…" Она плакала. — А я думала, что вы меня оставите так, — вдруг вырвалось у ней невольно, так невольно, что, может быть, она совсем и не заметила, как сказала, а между тем — о, это было самое главное, самое роковое ее слово и самое понятное для меня в тот вечер, и как будто меня полоснуло от него ножом по сердцу! Вс? оно объяснило мне, вс?, но пока она была подле, перед моими глазами, я неудержимо надеялся и был страшно счастлив. О, я страшно утомил ее в тот вечер и понимал это, но беспрерывно думал, что вс? сейчас же переделаю. Наконец к ночи она совсем обессилела, я уговорил ее заснуть, и она заснула тотчас, крепко. Я ждал бреда, бред был, но самый легкий. Я вставал ночью почти поминутно, тихонько в туфлях приходил смотреть на нее. Я ломал руки над ней, смотря на это больное существо на этой бедной коечке, железной кроватке, которую я ей купил тогда за три рубля. Я становился на колени, но не смел целовать ее ног у спящей (без ее-то воли!). Я становился молиться богу, но вскакивал опять. Лукерья присматривалась ко мне и вс? выходила из кухни. Я вышел к ней и сказал, чтобы она ложилась и что завтра начнется ?совсем другое". И я в это слепо, безумно, ужасно верил. О, восторг, восторг заливал меня! Я ждал только завтрашнего дня. Главное, я не верил никакой беде, несмотря на симптомы. Смысл еще не возвратился весь, несмотря на упавшую пелену, и долго, долго не возвращался, — о, до сегодня, до самого сегодня!! Да и как, как он мог тогда возвратиться: ведь она тогда была еще жива, ведь она была тут же передо мной, а я перед ней. "Она завтра проснется, и я ей вс? это скажу, и она вс? увидит". Вот мое тогдашнее рассуждение, просто и ясно, потому и восторг! Главное, тут эта поездка в Булонь. Я почему-то вс? думал, что Булонь — это вс?, что в Булони что-то заключается окончательное. "В Булонь, в Булонь!.." Я с безумием ждал утра. III СЛИШКОМ ПОНИМАЮ А ведь это было всего только несколько дней назад, пять дней, всего только пять дней, в прошлый вторник! Нет, нет, еще бы только немного времени, только бы капельку подождала и — и я бы развеял мрак! Да разве она не успокоилась? Она на другой же день слушала меня уже с улыбкою, несмотря на замешательство… Главное, вс? это время, все пять дней, в ней было замешательство или стыд. Боялась тоже, очень боялась. Я не спорю, я не буду противуречить, подобно безумному: страх был, но ведь как же было ей не бояться? Ведь мы так давно стали друг другу чужды, так отучились один от другого, и вдруг вс? это… Но я не смотрел на ее страх, сияло новое!.. Правда, несомненная правда, что я сделал ошибку. И даже было, может быть, много ошибок. Я, и как проснулись на другой день, еще с утра (это в среду было) тотчас вдруг сделал ошибку: я вдруг сделал ее моим другом. Я поспешил, слишком, слишком, но исповедь была нужна, необходима — куда, более чем исповедь! Я не скрыл даже того, что и от себя всю жизнь скрывал. Я прямо высказал, что целую зиму только и делал, что уверен был в ее любви. Я ей разъяснил, что касса ссуд была лишь падением моей воли и ума, личная идея самобичевания и самовосхваления. Я ей объяснил, что я тогда в буфете действительно струсил, от моего характера, от мнительности: поразила обстановка, буфет поразил; поразило то: как это я вдруг выйду, и не

выйдет ли глупо? Струсил не дуэли, а того, что выйдет глупо… А потом уж не хотел сознаться, и мучил всех, и ее за то мучил, и на ней затем и женился, чтобы ее за то мучить. Вообще я говорил большею частью как в горячке. Она сама брала меня за руки и просила перестать: "Вы преувеличиваете… вы себя мучаете", — и опять начинались слезы, опять чуть не припадки! Она вс? просила, чтобы я ничего этого не говорил и не вспоминал. Я не смотрел на просьбы или мало смотрел: весна, Булонь! Там солнце, там новое наше солнце, я только это и говорил! Я запер кассу, дела передал Добронравову. Я предложил ей вдруг раздать вс? бедным, кроме основных трех тысяч, полученных от крестной матери, на которые и съездили бы в Булонь, а потом воротимся и начнем новую трудовую жизнь. Так и положили, потому что она ничего не сказала… она только улыбнулась. И, кажется, более из деликатности улыбнулась, чтобы меня не огорчить. Я видел ведь, что я ей в тягость, не думайте, что я был так глуп и такой эгоист, что этого не видел. Я вс? видел, вс? до последней черты, видел и знал лучше всех; вс? мое отчаяние стояло на виду! Я ей вс? про меня и про нее рассказывал. И про Лукерью. Я говорил, что я плакал… О, я ведь и переменял разговор, я тоже старался отнюдь не напоминать про некоторые вещи. И даже ведь она оживилась, раз или два, ведь я помню, помню! Зачем вы говорите, что я смотрел и ничего не видел? И если бы только это не случилось, то вс? бы воскресло. Ведь рассказывала же она мне еще третьего дня, когда разговор зашел о чтении и о том, что она в эту зиму прочитала, — ведь рассказывала же она и смеялась, когда припомнила эту сцену Жиль Блаза с архиепископом Гренадским. И каким детским смехом, милым, точно как прежде в невестах (миг! миг!); как я был рад! Меня это ужасно поразило, впрочем, про архиепископа: ведь нашла же она, стало быть, столько спокойствия духа и счастья, чтобы смеяться шедевру, когда сидела зимой. Стало быть, уже вполне начала успокоиваться, вполне начала уже верить, что я оставлю ее так. "Я думала, что вы меня оставите так", — вот ведь что она произнесла тогда во вторник! О, десятилетней девочки мысль! И ведь верила, верила, что и в самом деле вс? останется так: она за своим столом, а я за своим, и так мы оба, до шестидесяти лет. И вдруг — я тут подхожу, муж, и мужу надо любви! О недоразумение, о слепота моя! Ошибка тоже была, что я на нее смотрел с восторгом; надо было скрепиться, а то восторг пугал. Но ведь и скрепился же я, я не целовал уже более ее ног. Я ни разу не показал виду, что… ну, что я муж, — о, и в уме моем этого не было, я только молился! Но ведь нельзя же было совсем молчать, ведь нельзя же было не говорить вовсе! Я ей вдруг высказал, что наслаждаюсь ее разговором и что считаю ее несравненно, несравненно образованнее и развитее меня. Она очень покраснела и конфузясь сказала, что я преувеличиваю. Тут я, сдуру-то, не сдержавшись, рассказал, в каком я был восторге, когда, стоя тогда за дверью, слушал ее поединок, поединок невинности с той тварью, и как наслаждался ее умом, блеском остроумия и при таком детском простодушии. Она как бы вся вздрогнула, пролепетала было опять, что я преувеличиваю, но вдруг вс? лицо ее омрачилось, она закрылась руками и зарыдала… Тут уж и я не выдержал: опять упал перед нею, опять стал целовать ее ноги, и опять кончилось припадком, так же как во вторник. Это было вчера вечером, а наутро… Наутро?! Безумец, да ведь это утро было сегодня, еще давеча, только давеча! Слушайте и вникните: ведь когда мы сошлись давеча у самовара (это после вчерашнего-то припадка), то она даже сама поразила меня своим спокойствием, вот ведь что было! А я-то всю ночь трепетал от страху за вчерашнее. Но вдруг она подходит ко мне, становится сама передо мной и, сложив руки (давеча, давеча!), начала говорить мне, что она преступница, что она это знает,

что преступление ее мучило всю зиму, мучает и теперь… что она слишком ценит мое великодушие… "я буду вашей верной женой, я вас буду уважать…" Тут я вскочил и как безумный обнял ее! Я целовал ее, целовал ее лицо, в губы, как муж, в первый раз после долгой разлуки. И зачем только я давеча ушел, всего только на два часа… наши заграничные паспорты… О боже! Только бы пять минут, пять минут раньше воротиться!.. А тут эта толпа в наших воротах, эти взгляды на меня… о господи! Лукерья говорит (о, я теперь Лукерью ни за что не отпущу, она вс? знает, она всю зиму была, она мне вс? рассказывать будет), она говорит, что, когда я вышел из дому, и всего-то минут за двадцать каких-нибудь до моего прихода, — она вдруг вошла к барыне в нашу комнату что-то спросить, не помню, и увидала, что образ ее (тот самый образ богородицы) у ней вынут, стоит перед нею на столе, а барыня как будто сейчас только перед ним молилась. "Что вы, барыня?" — "Ничего, Лукерья, ступай… Постой, Лукерья", — подошла к ней и поцеловала ее. "Счастливы вы, говорю, барыня?" — "Да, Лукерья" — "Давно, барыня, следовало бы барину к вам прийти прощения попросить… Слава богу, что вы помирились" — "Хорошо, говорит, Лукерья, уйди, Лукерья", — и улыбнулась этак, да странно так. Так странно, что Лукерья вдруг через десять минут воротилась посмотреть на нее: "Стоит она у стены, у самого окна, руку приложила к стене, а к руке прижала голову, стоит этак и думает. И так глубоко задумавшись стоит, что и не слыхала, как я стою и смотрю на нее из той комнаты. Вижу я, как будто она улыбается, стоит, думает и улыбается. Посмотрела я на нее, повернулась тихонько, вышла, а сама про себя думаю, только вдруг слышу, отворили окошко. Я тотчас пошла сказать, что „свежо, барыня, не простудились бы вы?, и вдруг вижу, она стала на окно и уж вся стоит, во весь рост, в отворенном окне, ко мне спиной, в руках образ держит. Сердце у меня тут же упало, кричу: „Барыня, барыня!? Она услышала, двинулась было повернуться ко мне, да не повернулась, а шагнула, образ прижала к груди и — и бросилась из окошка!" Я только помню, что, когда я в ворота вошел, она была еще теплая. Главное, они все глядят на меня. Сначала кричали, а тут вдруг замолчали и все передо мной расступаются и… и она лежит с образом. Я помню, как во мраке, что я подошел молча и долго глядел, и все обступили и что-то говорят мне. Лукерья тут была, а я не видал. Говорит, что говорила со мной. Помню только того мещанина: он вс? кричал мне, что "с горстку крови изо рта вышло, с горстку, с горстку!", и указывал мне на кровь тут же на камне. Я, кажется, тронул кровь пальцем, запачкал палец, гляжу на палец (это помню), а он мне вс?: "С горстку, с горстку!" — Да что такое "с горстку"? — завопил я, говорят, изо всей силы, поднял руки и бросился на него… О, дико, дико! Недоразумение! Неправдоподобие! Невозможность! IV ВСЕГО ТОЛЬКО ПЯТЬ МИНУТ ОПОЗДАЛ А разве нет? Разве это правдоподобно? Разве можно сказать, что это возможно? Для чего, зачем умерла эта женщина? О, поверьте, понимаю; но для чего она умерла — все-таки вопрос. Испугалась любви моей, спросила себя серьезно: принять или не принять, и не вынесла вопроса, и лучше умерла. Знаю, знаю, нечего голову ломать: обещаний слишком много надавала, испугалась, что сдержать нельзя, — ясно. Тут есть несколько обстоятельств совершенно ужасных. Потому что для чего она умерла? все-таки вопрос стоит. Вопрос стучит, у меня в мозгу стучит. Я бы и оставил ее только так, если б ей захотелось, чтоб осталось так. Она тому не поверила, вот что! Нет, нет, я вру, вовсе не это. Просто потому, что со мной надо было честно: любить так всецело любить, а не так, как любила бы купца. А так как она была слишком целомудренна, слишком чиста, чтоб согласиться на такую любовь, какой надо купцу, то и не захотела меня обманывать. Не захотела обманывать полулюбовью под видом

любви или четвертьлюбовью. Честны уж очень, вот что-с! Широкость сердца-то хотел тогда привить, помните? Странная мысль. Ужасно любопытно: уважала ли она меня? Я не знаю, презирала ли она меня или нет? Не думаю, чтоб презирала. Странно ужасно: почему мне ни разу не пришло в голову, во всю зиму, что она меня презирает? Я в высшей степени был уверен в противном до самой той минуты, когда она поглядела на меня тогда с строгим удивлением. С строгим именно. Тут-то я сразу и понял, что она презирает меня. Понял безвозвратно, навеки! Ах, пусть, пусть презирала бы, хоть всю жизнь, но — пусть бы она жила, жила! Давеча еще ходила, говорила. Совсем не понимаю, как она бросилась из окошка! И как бы мог я предположить даже за пять минут? Я позвал Лукерью. Я теперь Лукерью ни за что не отпущу, ни за что! О, нам еще можно было сговориться. Мы только страшно отвыкли в зиму друг от друга, но разве нельзя было опять приучиться? Почему, почему мы бы не могли сойтиться и начать опять новую жизнь? Я великодушен, она тоже — вот и точка соединения! Еще бы несколько слов, два дня, не больше, и она бы вс? поняла. Главное, обидно то, что вс? это случай — простой, варварский, косный случай. Вот обида! Пять минут, всего, всего только пять минут опоздал! Приди я за пять минут — и мгновение пронеслось бы мимо, как облако, и ей бы никогда потом не пришло в голову. И кончилось бы тем, что она бы вс? поняла. А теперь опять пустые комнаты, опять я один. Вон маятник стучит, ему дела нет, ему ничего не жаль. Нет никого — вот беда! Я хожу, я вс? хожу. Знаю, знаю, не подсказывайте: вам смешно, что я жалуюсь на случай и на пять минут? Но ведь тут очевидность. Рассудите одно: она даже записки не оставила, что вот, дескать, "не вините никого в моей смерти", как все оставляют. Неужто она не могла рассудить, что могут потревожить даже Лукерью: "Одна, дескать, с ней была, так ты и толкнула ее". По крайней мере, затаскали бы без вины, если бы только на дворе четверо человек не видали из окошек из флигеля и со двора, как стояла с образом в руках и сама кинулась. Но ведь и это тоже случай, что люди стояли и видели. Нет, вс? это — мгновение, одно лишь безотчетное мгновение. Внезапность и фантазия! Что ж такое, что перед образом молилась? Это не значит, что перед смертью. Вс? мгновение продолжалось, может быть, всего только каких-нибудь десять минут, вс? решение — именно когда у стены стояла, прислонившись головой к руке, и улыбалась. Влетела в голову мысль, закружилась и — и не могла устоять перед нею. Тут явное недоразумение, как хотите. Со мной еще можно бы жить. А что если малокровие? Просто от малокровия, от истощения жизненной энергии? Устала она в зиму, вот что… Опоздал!!! Какая она тоненькая в гробу, как заострился носик! Ресницы лежат стрелками. И ведь как упала — ничего не размозжила, не сломала! Только одна эта "горстка крови". Десертная ложка то есть. Внутреннее сотрясение. Странная мысль: если бы можно было не хоронить? Потому что если ее унесут, то… о нет, унести почти невозможно! О, я ведь знаю, что ее должны унести, я не безумный и не брежу вовсе, напротив, никогда еще так ум не сиял, — но как же так опять никого в доме, опять две комнаты, и опять я один с закладами. Бред, бред, вот где бред! Измучил я ее — вот что! Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? Пусть судит меня ваш судья, пусть приведут меня в суд, в ваш гласный суд, и я скажу, что я не признаю ничего. Судья крикнет: "Молчите, офицер!" А я закричу ему: "Где у тебя теперь такая сила, чтобы я послушался? Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже? Зачем же мне теперь ваши законы? Я отделяюсь". О, мне вс? равно! Слепая, слепая! Мертвая, не слышит! Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя. Рай был у меня в душе, я бы насадил его кругом тебя! Ну, ты бы меня не любила, — и

пусть, ну что же? Вс? и было бы так, вс? бы и оставалось так. Рассказывала бы только мне как другу, — вот бы и радовались, и смеялись радостно, глядя друг другу в глаза. Так бы и жили. И если б и другого полюбила, — ну и пусть, пусть! Ты бы шла с ним и смеялась, а я бы смотрел с другой стороны улицы… О, пусть вс?, только пусть бы она открыла хоть раз глаза! На одно мгновение, только на одно! взглянула бы на меня, вот как давеча, когда стояла передо мной и давала клятву, что будет верной женой! О, в одном бы взгляде вс? поняла! Косность! О, природа! Люди на земле одни — вот беда! "Есть ли в поле жив человек?" — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Вс? мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля! "Люди, любите друг друга" — кто это сказал? чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ее стоят у кроватки, точно ждут ее… Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду? Примечания 1 За и против (лат.). 2 По-английски (фр.). 3 Свидание (фр.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения!

http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения!